



ПОСЛЕДНЯЯ ЧИСТАЯ КРОВЬ

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Крис Син

Последняя чистая кровь

«Автор»

2026

Син К.

Последняя чистая кровь / К. Син — «Автор», 2026

Когда-то в мире было куда больше даров, чем осталось теперь. Единственная кровная линия хранила в себе способность видеть чужие мысли, скрываться от глаз целого мира и искажать саму реальность. Все прочие линии, обладавшие лишь осколками этой силы, со временем истончились и растворились в обычной человеческой крови, оставив после себя только легенды и суеверия. До сих пор находятся те, кто охотится за этой единственной уцелевшей линией — не ради мести, не ради власти в привычном смысле, а ради того, чтобы вернуть миру то, что было утрачено. Их называют Тернион. Есть и другие — те, кто поклялся веками стоять между этой охотой и её жертвами, платя за эту клятву кровью собственных семей. Это история одной из последних. Девушки, которая восемнадцать лет не знала, кто она такая на самом деле — пока однажды это не перестало быть тайной.

© Син К., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	5
Глава 2	7
Глава 3	9
Глава 4	11
Глава 5	13
Глава 6	15
Глава 7	17
Глава 8	19
Глава 9	21
Глава 10	23
Глава 11	25
Глава 12	27
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Крис Син

Последняя чистая кровь

Глава 1

АМЕЛИЯ

Это был худший день в моей жизни.

Не потому что я испугалась — страх был позже, когда я уже не могла его назвать словами. В тот момент я не чувствовала вообще ничего. Просто стояла, смотрев на труп своего отца, а внутри была лишь пустота

Я расскажу с начала. Не потому что так положено, а потому что иначе вы не поймёте, почему я не закричала, не побежала за помощью, не сделала ничего из того, что делают нормальные люди. Просто у меня никогда не было нормальных людей рядом, чтобы хотя бы узнать, как это должно быть...

За три дня до этого

Дождь в наших краях шёл почти каждый вечер в сентябре, и отец всегда говорил, что это к лучшему — реже приходится подметать дорожку от пыли, реже кто-то решает проехать мимо просто так, из любопытства. Ближайшая деревня — если её вообще можно было так назвать, заправка, магазин и церковь, — находилась в семи милях. Но даже до неё было далеко от нас: наш дом стоял в стороне от единственной дороги, за отдельным поворотом, который сложно было заметить, если не знать заранее, куда смотреть. Соседей у нас не было вовсе. Дом стоял один посреди соснового леса, будто кто-то специально стёр его с карты.

Я никогда не ходила в школу. Отец учил меня сам — математике, языкам (я говорила на трёх, хотя не понимала, зачем мне это в лесу, где даже почтальон появлялся раз в месяц), истории, которую он почему-то знал слишком хорошо для человека, который, по его словам, всю жизнь ловил рыбу — уходил на озеро с рассветом, возвращался к обеду с уловом, и этим мы, по большей части, и жили.

Другому он учил меня тоже. Как стоять, чтобы удар не сбил тебя с ног. Как разбирать и собирать пистолет с закрытыми глазами. Как замедлить дыхание, когда паника подкатывает к горлу. Я не спрашивала зачем. В нашем мире не спрашивать было нормой, единственной нормой, которую я знала.

Мне было двенадцать, когда я в первый раз спросила его, почему у нас нет фотографий мамы. Он посмотрел на меня так, будто я спросила что-то непристойное, и сказал, что она умерла давно, ещё до моего рождения, и фотографии не сохранились при переезде. Я поверила.

Люди считали меня странной. Может, они были правы. Я не умела вести разговор ни о чём — о погоде, о сериалах, о том, кто с кем встречается. Зато я умела молчать так, что взрослые мужчины начинали ёрзать под моим взглядом, сами не понимая почему. Отец говорил, это тоже дар — умение видеть, когда человек врёт. Я думала, он имел в виду просто внимательность.

В четверг он был другим. Его лицо резко постарело будто лет на десять, он долго смотрел в окно, прежде чем ответить на самый обычный вопрос про то, пойдём ли мы завтра проверять сети. Он сказал да, но ответил не сразу, будто мысленно был где-то в другом месте, далеко от кухни, от меня. Потом взял меня за руку — то, чего не делал уже года два, с тех пор как решил, что я слишком взрослая для этого — и держал её дольше, чем нужно для обычного жеста:

— Что бы ни случилось, Милли, ты справишься. Ты сильнее, чем думаешь.

Я сказала, что он говорит загадками, как в кино, и попыталась отшутиться, но он не улыбнулся. Просто кивнул, отпустил мою руку и сказал, чтобы я шла спать. Уже в дверях своей комнаты я обернулась — он всё ещё сидел за столом, не двигаясь, глядя в темноту за окном так, будто там было что-то, что видел только он.

В пятницу он отправил меня в город за припасами одну — за руль старого пикапа я села сама, без него рядом, хотя обычно мы ездили вместе. Водить он научил меня раньше, чем большинство детей учатся кататься на велосипеде, ещё одна из тех вещей, которым я не удивлялась, пока не увидела, как это шокирует других. Дал список длиннее обычного и деньги — гораздо больше, чем нужно было для списка. Я не спросила почему. Не спрашивать было нормой

Дорога туда и обратно заняла три часа. Я помню, что напевала себе под нос какую-то мелодию, но внутри была некая тревога, происхождения которой я не могла объяснить..

Дверь была заперта на оба замка — как всегда. Отец никогда, ни разу в жизни, не оставлял дом открытым. Я знала это так же твёрдо, как своё имя, и потому не придавала значения тому, что мне пришлось перекладывать пакеты в одну руку, чтобы нашарить в кармане ключ — обычное, привычное движение, которое я делала тысячу раз до этого.

Свет на кухне не горел, хотя было уже почти темно.

Я поставила пакеты у порога и позвала его.

Никто не ответил.

Я прошла в кухню. Его стул был отодвинут, будто он вставал в спешке. На столе — недопитая чашка кофе, уже остывшая, судя по тому, как отслоилась плёнка сверху.

А потом я увидела дверь в подвал — приоткрытую и что-то внутри меня, что-то, чего я не могла назвать словами, потому что никогда не училась называть такие вещи, сказала мне: не ходи туда.

Я пошла.

Глава 2

АМЕЛИЯ

Свет я включила не сразу — рука сама нашла выключатель, а потом щелчок — комната осветилась и время остановилось.

Не в переносном смысле. Именно так, как это ощущается в моменте, к которому невозможно подготовиться никакими тренировками: звук исчез. Весь. Будто кто-то одним движением выключил мир вокруг и в ушах осталось только высокое, тонкое «дзынь», как после слишком громкого хлопка, звон, который не прекращался.

Отец сидел в кресле у верстака, голова была запрокинута назад, к стене, там, где над ней теперь темнело то, на чём взгляд отказывался задерживаться дольше доли секунды — бордовые брызги крови, разлетевшиеся веером, слишком тёмные в тусклом свете лампы, слишком неправильные, чтобы принадлежать этому миру. Пистолет — тот самый, из которого он учил меня стрелять по банкам за домом, — лежал на полу у его безвольно свисающей руки, там, куда выпал в момент выстрела. Рядом, на верстаке, стояла початая бутылка виски. Я знала точно, знала до основания костей: отец не пил виски. Никогда. За всю мою жизнь я не видела в доме ни одной бутылки крепче пива, которое он позволял себе лишь по особым случаям, раз или два в год. Эта бутылка была здесь чужой — как будто её принёс кто-то другой, не он, кто-то, кем он был какое-то время назад, до меня.

Я даже не помню, как оказалась рядом с ним — просто в один момент стояла в дверях, а в следующий уже сидела на полу у его ног, мои руки лежали на его коленях, и я с трясущейся головой в знак отрицания повторяла:

— Папа. Папа, нет. Папа.

Снова и снова, одно и то же слово, будто, говоря его достаточно раз, я могла заставить его открыть глаза. Слез не было. Я помню, что удивлялась этому — где-то на самом краю сознания, откуда-то издалека, — что глаза сухие, что горло не сжимается, что во всём теле стоит эта странная, стеклянная тишина, будто меня саму выключили вместе с миром.

Не знаю, сколько я так просидела. Помню только, что в какой-то момент звон в ушах стал тише, и сквозь него пробилась одна-единственная ясная мысль, острая, как лезвие: *здесь не должно быть чужих людей.*

Я не позвонила местному шерифу. Не позвонила никому.

Мне было семь лет, когда тихим вечером, вроде бы ни с того ни с сего отец впервые сказал мне это:

— Если со мной что-то случится, Милли, не зови никого. Слышишь? Похорони меня сама, здесь, в лесу, за старой сосной у ручья. И никому не говори, где.

Тогда я решила, что это была одна из его странностей, к которым я давно привыкла — как нелюбовь к телефонам и то, что он никогда не фотографировался. Я кивнула тогда, как кивала на всё, что он говорил, не задавая вопросов.

Сидя на полу, глядя на его неподвижное лицо, я вспомнила эти слова с такой ясностью, будто он произнёс их минуту назад, а не одиннадцать лет.

Я поднялась. Ноги не слушались, будто принадлежали не мне, а кому-то другому, кого я вела на автопилоте. Я нашла в сарае лопату — ту самую, которой мы весной вскапывали грядки, — и вышла в темноту, к старой сосне у ручья, начав копать.

Земля была твёрдой. Я не помню, сколько часов это заняло. Помню только, что руки к концу кровоточили из мозолей, что дождь, о котором отец всегда говорил с такой теплотой, начался где-то в середине ночи и не прекращался, пока я не закончила, — и что ни разу за всё это время я не заплакала.

Слёз не было и под утро. Я стояла над свежей землёй, вымокшая насквозь, с лопатой в разбитых руках, и вокруг была только оглушающая тишина леса. Я ждала, что вот сейчас, наконец, придёт то, что должно прийти в такие моменты. Не пришло.

Я просто стояла. И где-то там, глубоко внутри, я уже понимала: что-то во мне сломалось так, что слёзы теперь были бы слишком простым, слишком лёгким ответом на произошедшее.

Глава 3

АМЕЛИЯ

Я завернула его в брезент из сарая — тот, которым он укрывал лодку зимой, — потому что не могла заставить себя тащить его так, без ничего, и в этом было хоть какое-то подобие уважения, последнее, что я могла ему дать.

Идти с такой ношей оказалось почти невозможно — брезент скользил в мокрых от дождя и пота руках, ноги разъезжались в раскисшей земле, и на полпути к сосне у ручья, я оступилась и упала вместе с ним, коленями в грязь, и осталась лежать так несколько секунд, не в силах подняться, слушая дождь и собственное дыхание.

Странная мысль пришла мне тогда, что хоронить отца своими же руками — это то, о чём никто никогда не думает заранее, никогда не готовится, не представляет, каково это на самом деле. Не горе даже — что-то более простое и более чудовищное: физический труд, грязь под ногтями, боль в спине, необходимость просто справиться с задачей, которую больше некому было выполнить за меня.

Когда всё было кончено, я долго стояла над свежим холмиком, не зная, что делать дальше — поставить крест значило бы обозначить место для любого, кто пройдёт мимо, а этого отец боялся больше всего. В конце концов я взяла с верстака обрезок доски, вырезала на нём перочинным ножом две буквы — его инициалы, ничего больше, ничего, что могло бы выдать, кто здесь лежит, — и вкопала дощечку так, чтобы она была не выше травы, заметная только тому, кто точно знает, куда смотреть.

Я запомнила это место так, как запоминают вещи, которые нельзя забыть ни при каких обстоятельствах: количество шагов от ручья, наклон старой сосны, форму камня неподалёку. На случай, если однажды это понадобится снова.

В дом я вошла уже на рассвете — промокшая до костей, грязная, руки трясло уже не от холода, а от того, что тело, наконец, начало осознавать, сколько часов оно провело на пределе. Я прошла мимо кухни, мимо его пустого кресла у окна и оказалась в своей комнате.

Дом был маленьким — одноэтажный, две комнаты, если не считать кухни и общего зала: его спальня, моя, и всё. Я всегда знала это пространство наизусть, каждый скрип половицы, каждую тень на потолке от лампы за окном. В ту ночь оно казалось мне чужим, будто я оказалась в доме, который видела только на фотографии.

Я села на край кровати, не снимая мокрой одежды, и потянулась к тумбочке — туда, где рядом с лампой всегда стояла фотография в простой деревянной рамке. Мне было, кажется, лет шесть — и мы стояли на этом самом крыльце, он держал меня на руках, оба шурились от солнца, оба смеялись чему-то.

Я долго смотрела на эту фотографию. Так долго, что рассвет вполз в комнату сам, без спросу, размывая границы между ночью и утром.

И где-то в этой тишине я дала себе слово: *я узнаю, что случилось. Я узнаю, почему. Чего бы это ни стоило.*

Спустилась я в подвал уже засветло.

Не знаю, что я искала — просто нужно было делать хоть что-то руками. Я начала с верстака — методично, как учил отец, — но чем дольше я перебирала его инструменты, его бумаги, тем сильнее внутри меня что-то натягивалось, как струна, туже, туже, пока не лопнуло разом.

Я не помню, как начала крушить.

Помню только грохот — банки с краской, полетевшие на пол, стеллаж, который я опрокинула голыми руками, не чувствуя боли. Я крушила всё, что попадалось под руки, будто в этом хаосе можно было найти то, чего мне так не хватало — смысл, ответ, хоть что-то, — и

когда, наконец, выдохлась, тяжело дыша, глядя на устроенный мной разгром, я увидела то, чего не видела никогда прежде.

Задняя стена подвала за стеллажем, который я опрокинула, треснула — не просто отошла, а раскололась, обнажив за собой не кирпичную кладку, как должно было быть, а тёмный проём. Фальшивая стена.

Я замерла.

За проёмом оказалась крошечная комнатка. На узкой полке лежали аккуратно сложенные документы — не один паспорт, а с десятков, каждый на разное имя, разные страны, и на каждой фотографии — его лицо, чуть моложе, чуть иначе, но неизменно его. Рядом, в холщовом мешке, — деньги, несколько пачек, разных валют. У стены, завернутый в промасленную тряпку, — ещё один пистолет, который я никогда не видела.

А на самой полке лежала потрёпанная тетрадь в кожаном переплёте, перетянутая шнурком.

Я взяла её дрожащими руками и открыла на первой странице.

Там, выведенное его почерком — тем самым, каким он подписывал мне тетради для уроков, — было одно слово, повторяющееся снова и снова, вниз по всей странице, будто он писал его как заклинание, как молитву, как предупреждение самому себе:

Тернион. Тернион. Тернион.

Глава 4

АМЕЛИЯ

Я села прямо на пол тайника, среди рассыпанных денег и паспортов, и начала листать тетрадь дальше.

После первой страницы, исписанной одним и тем же словом, шли записи — не на английском, а угловатыми, вытянутыми символами, соединёнными между собой тонкими линиями, будто каждое слово было не набором звуков, а единой связной фигурой.

Я смотрела на них и чувствовала, как что-то внутри меня холодеет — не потому что символы были незнакомыми, а потому что они не были незнакомыми до конца. Где-то на самом дне памяти, там, где хранятся вещи из раннего детства, слишком смутные, чтобы называть их воспоминаниями, я узнавала эти линии.

Мне было лет пять, может, шесть. Отец сидел со мной за кухонным столом зимними вечерами и играл в игру, которую называл «наше тайное письмо» — рисовал на бумаге странные символы, просил меня повторять их, складывать в цепочки, запоминать, какой звук за каким знаком стоит. Я думала, это просто выдумка, способ скоротать долгий вечер, что-то вроде секретного языка, который придумывают все дети с воображаемыми друзьями. Он никогда не говорил, что это настоящее. Никогда не объяснял, откуда это взялось.

Теперь, глядя на страницы его тетради, я понимала: это не было игрой. Это было обучением. Он готовил меня читать это — на случай, если однажды мне придётся.

Часть символов я всё ещё помнила достаточно, чтобы разобрать отдельные слова, — медленно, как ребёнок, только начавший читать по слогам. Между строк символов встречались даты — обычные цифры, которые он не потрудился скрыть, — и рядом с каждой датой инициалы. Год за годом, инициалы за инициалами, будто список, который он вёл десятилетиями. Ближе к концу тетради несколько страниц были вырваны — аккуратно, у самого корешка, — и от них остались только узкие полоски бумаги, ничего не говорящие о том, что было написано.

Я говорила вслух, сама не замечая этого — тихо, обращаясь то ли к тетради, то ли к нему самому, то ли просто в пустоту комнаты:

— Ты был рыбаком. Ты ловил рыбу и чинил лодочный мотор, и в четверг мы ели то, что ты поймал в среду. Ты не пил виски. Так кем ты был на самом деле? И если ты — не ты, то кто, чёрт возьми, тогда я?

Ответа тетрадь мне не дала. Зато между последних страниц, там, где символы обрывались вырванными листами, я нашла сложенный вчетверо лист обычной бумаги и на нём, его собственным почерком, было написано моё имя.

Я разворачивала его так медленно, будто боялась, что бумага рассыплется от резкого движения.

Дорогая моя Амелия. Доченька.

Если ты читаешь это, значит, случилось то, чего я боялся все эти годы, и меня больше нет. Мне жаль. Мне так жаль, что нет слов — за молчание, за ложь, за все годы, когда я смотрел на тебя за завтраком и не находил в себе смелости сказать правду.

Я не был тем, кем ты меня знала. Не буду объяснять здесь всё — то, что тебе нужно знать, ты поймёшь сама, когда придёт время.

Слушай меня внимательно, потому что времени у тебя мало. Всё, что защищало тебя все эти годы — то, что нас никто и никогда не находил здесь, — не было случайностью. Это моя работа, моё усилие, повторяемое каждый день. Теперь меня больше нет, и то, что стояло вокруг тебя стеной, долго не выстоит.

Беги, Милли. Не жди утра, не жди, пока станет спокойнее внутри. Возьми только самое необходимое и уходи из этого дома прямо сейчас. Деньги из тайника возьми с собой — они тебе понадобятся.

Будь осторожна с тем, что ты унаследовала. Не раскрывай это никому, пока не поймёшь, кому можно верить.

Прости меня. Ты сильнее, чем я успел тебе показать.

Папа.

Под подписью, там, где, казалось бы, письмо уже закончилось, шла ещё одна строка — не буквами, а теми же угловатыми символами, что заполняли всю тетрадь. Я вглядывалась в них долго, вытаскивая из памяти обрывки той детской игры за кухонным столом, символ за символом, звук за звуком. Разобрать удалось немного — три слова, вставшие перед глазами с пугающей ясностью:

последняя. чистая. кровь.

Что это значило, я не знала. Не было времени думать об этом — да и не было сил. Я перечитала письмо ещё раз, вбивая каждое слово в память, а потом поднесла его к пламени свечи, стоявшей на верстаке, и держала, пока огонь не добрался до самых пальцев. Бумага чернела, скручивалась, и вместе с ней исчезало последнее физическое доказательство того, что отец вообще пытался мне что-то объяснить.

Он сам научил меня этому — не оставлять следов.

Я побросала деньги и документы в старый рюкзак, туда же — пистолет из тайника, тетрадь с обрывками символов, смену одежды. Руки двигались быстро, но плохо слушались — сказывались часы на ногах, часы с лопатой, часы без сна. Я говорила себе: ещё пять минут, соберусь, и в путь, машина заправлена, к рассвету буду уже далеко отсюда.

Я села на край кровати — только на секунду, только чтобы перевести дух, и сон навалился на меня против воли, тяжёлый, беспросветный, как обморок, а не отдых. Последней мыслью, ещё до того, как темнота забрала меня целиком, было отцовское: *времени у тебя мало.*

Я не успела.

Глава 5

МАТЕО

Будильник я не ставил уже лет восемнадцать. Тело само знало, когда просыпаться — в шесть, минута в минуту, без исключений, даже если накануне я лёг в три. Привычка, вбитая с детства дядей: дисциплина как единственная защита от мира, который в любой момент способен отобрать у тебя всё.

Пентхаус был тихим в этот час — только город гудел где-то далеко внизу, тридцать два этажа под ногами, и утренний свет резал по стеклянным стенам гостиной, где не было ни одной картины, ни одной личной вещи, только голый минимализм и одна-единственная фотография с родителями на каминной полке, к которой я не подходил месяцами.

Я оделся быстро — привычный ритуал, костюм от портного, которому я платил больше, чем большинство людей зарабатывает за год, часы, доставшиеся от деда, кольцо с гербом семьи на мизинце, которое я носил не из сентиментальности, а потому что оно напоминало каждому, кто его замечал, с кем они имеют дело. Спустился на подземную парковку, сел за руль — я предпочитал водить сам, ни к чему таскать за собой водителя, когда доверять по-настоящему можно было в лучшем случае троим людям на всём белом свете, — и через двадцать минут уже въезжал в подземный гараж штаб-офиса.

Снаружи здание называлось «Санторо Холдингс» — сорок этажей стекла и стали в самом сердце финансового района, с логотипом, который узнавала половина города, с котировками акций, которые честно поднимались и падали на бирже, с настоящими сотрудниками на зарплатах, разбирающими реальные контракты на первых тридцати восьми этажах. В официальных документах, поданных городу, здание значилось тридцативосьмьюэтажным. Два верхних этажа не существовали ни на одном плане, ни в одном реестре — попасть туда можно было только через отдельный лифт в глубине подземного гаража, вызывавшийся ключ-картой и отпечатком пальца.

Я поднялся сразу туда — за длинным столом уже сидели свои. Дядя Витторио — брат отца, тот, кто держал семью на плаву все эти годы, пока я рос, — расположился во главе, как делал это всегда, хотя формально главой давно был я. Рядом — мои двоюродные, Лука и Дарио, оба на пару лет старше, оба выросли со мной в одном доме после того, как не стало родителей, и относились ко мне скорее как к младшему брату, чем как к боссу, что бы ни говорила иерархия. У окна — тётя Роза, единственная женщина за столом, но при этом самая опасная из всех присутствующих, если верить тому, что о ней рассказывали ещё до моего рождения.

Семья у нас была большой — это одно из немногих преимуществ рода, который веками называл себя не мафией, не кланом, а куда старше и точнее: Защитники. Не по крови в том смысле, в каком это было у противоположной стороны — не дар, передающийся по наследству через одного носителя, — а по призванию, по клятве, которую каждое поколение давало заново: стоять между обычным миром и тем, что скрывалось за его изнанкой. Раньше, если верить старым записям, Защитники охраняли равновесие. Следили за теми, у кого была сила, не позволяя ей вырваться туда, где она могла разрушить слишком многое.

Потом родителей убили и равновесие перестало меня волновать.

— Нашли, — сказал дядя Витторио, не поднимая взгляда от планшета, едва я сел. Ни приветствия, ни предисловий — в этих стенах на них не тратили время.

Я ничего не ответил, просто ждал.

— Дочь. Восемнадцать лет, жила с ним всё это время в какой-то дыре на границе штата, куда даже почта не всегда доходит. Прошлой ночью Ишейка почувствовала перемену — что-то вроде того, как гаснет свеча, которую годами держали зажжённой в одной и той же точке. То, чем он прикрывал их все эти годы, погасло разом. Она дала нам направление, а дальше

уже наши люди на земле уточнили: отец мёртв, судя по всему, от собственной руки, и никакого шерифа, никакой похоронной службы девчонка не вызывала. Похоронила его сама, в одну ночь, своими руками, а после, похоже, готовилась исчезнуть.

Ищейкой мы называли Нору — то небольшое, что осталось от одного из старых экспериментов Терниона, человека, который когда-то был почти одним из них, пока не сбежал и не осел у нас в долгу, который не выплатить и за две жизни. Полноценного дара у неё не было — только его обломок, тень, способная чувствовать, когда где-то рвётся чужое сокрытие. Большого от неё не требовалось. Большого у неё и не было.

Тернион. Слово, которое я узнал раньше, чем научился завязывать шнурки, — отец с матерью произносили его при мне только шёпотом, и то нечасто, будто одно упоминание могло притянуть внимание, которого лучше было избегать. Мне понадобились годы, чтобы сложить из обрывков подслушанных разговоров и старых семейных архивов хоть какую-то целостную картину: тайная организация, одержимая цифрой три, потому что три — это число даров, которыми, если верить легендам рода, когда-то владела единственная кровная линия на земле. Не клан в привычном смысле, не корпорация — что-то куда старше и терпеливее, столетиями охотившееся за той самой линией, пытаюсь либо возродить её целиком в подконтрольных руках, либо стереть с лица земли, если возродить не получится. Мои родители встали у них на пути однажды — и заплатили за это всем, что у них было.

Лука развернул на экране спутниковый снимок — глушь, лес, одинокая крыша среди деревьев, там, куда указала Нора.

Дарио присвистнул, глядя на изображение.

— Далековато забрался покойник.

— Он и не прятался в том смысле, в каком ты думаешь, — возразила тётя Роза, кивнув на снимок. Взгляд её при этом оставался на мне — тем самым, каким она смотрела всегда, когда я был ребёнком и она пыталась понять, о чём я думаю. — Он выстраивал защиту, жертвуя своими жизненными силами восемнадцать лет, Матео. Такое не делается от страха. Такое делается, когда точно знаешь, что рано или поздно за тобой придут — и готовишь к этому не себя. Готовишь того, кто останется.

— Значит, поедем за ней сами. Никаких посредников, никаких людей со стороны, которые могут всё испортить прежде, чем я задам ей хотя бы один вопрос.

— Есть ещё кое-что, — вставил Лука, не отрываясь от экрана. — Мы не знаем, пустая она или нет. Восемнадцать лет — ни одного зафиксированного всплеска, ни одного отголоска, который засекала бы Нора издалека. Либо дар в ней молчит сам по себе, либо кто-то очень хорошо постарался, чтобы он молчал.

— Отец, — сказал Дарио. — Кто ещё стал бы так стараться.

— Значит, едем с расчётом на худшее, — ответил я. — Пусть готовят фиксаторы. Пустая она или нет — это ничего не меняет. Меняет только то, сколько времени у меня будет, прежде чем она попытается что-то предпринять.

Дядя Витторио, наконец, поднял взгляд.

— Ты уверен, что это разумно — лично?

Восемнадцать лет я представлял себе это лицо — лицо человека, который отнял у меня всё, а после спрятался за именем рыбака в глуши, будто это могло что-то искупить. У меня никогда не было плана, что я сделаю, когда, наконец, найду его. Только это лицо, размытое, безымянное, и ярость, которая не гасла ни на день.

Теперь вместо него была она. Восемнадцатилетняя девчонка, которая, если верить дяде, даже не подозревала, кем был её отец на самом деле.

Это меня не остановило.

— Уверен, — сказал я. — Пусть приготовят машину.

Глава 6

АМЕЛИЯ

Меня разбудил звук гравия. Кто-то только что проехал по нашей подъездной дороге.

За окном было темно. Сколько я проспала — час, пять, всю ночь целиком? Рюкзак лежал у кровати ровно там, где я его оставила, недособранный, а значит, я не успела ничего. Отец предупреждал бежать до темноты. Я не успела.

Пистолет из рюкзака оказался в руке прежде, чем я осознанно решила его достать — тело двигалось само, тренированное годами, которые я никогда не понимала до конца. Шаги снаружи — не один человек, несколько, — методичные, не пытающиеся скрыть себя, что почему-то пугало сильнее, чем если бы они крались.

Прятаться в доме было бессмысленно. Я быстро метнулась к задней двери, той, что вела напрямик в лес, — единственное место на многие мили, которое я знала лучше, чем собственное тело, каждую лужайку, каждый овраг, каждую тропу, протоптанную годами наших с отцом вылазок.

Дождь стих, но земля оставалась скользкой, и я бежала так, как не бегала никогда в жизни, не разбирая дороги, полагаясь только на память, вбитую в ноги с детства. За спиной я слышала — или мне казалось, что слышала, — движение, но недостаточно, чтобы понять, насколько близко.

Он появился буквально из ниоткуда.

Не сзади, куда я оглядывалась, а сбоку, из-за толстого ствола дерева, будто вырос прямо из темноты, — и я успела заметить только очертания, прежде чем инстинкт заставил меня развернуть пистолет в его сторону. Он перехватил моё запястье раньше, чем я успела нажать на курок, легко, как будто вес оружия в моей руке ничего для него не значил.

Я подняла взгляд — пришлось задрать голову выше, чем когда-либо приходилось задирать её на человека, — и увидела его целиком.

Он был огромным — не просто высоким, а сложенным так, что заслонял собой половину неба над головой, широкий в плечах настолько, что казался вытесанным из чего-то более плотного, чем обычная плоть. В полумраке луны я заметила только черные, как ночь глаза и точенное лицо, будто он сошел с обложки журнала.

Чёрный костюм, идеально сидящий, дорогой настолько, что я никогда прежде не видела ничего подобного вживую — выглядел здесь, среди деревьев и грязи, абсолютно чужеродно, будто кто-то вырезал фигуру из совершенно другого мира и грубо вклеил в мой.

— Далеко собралась, дикарка? — произнёс он, и голос был таким же несоразмерным всему остальному — низким, спокойным, без малейшего намёка на то, что бег через тёмный лес за перепуганной девчонкой требовал от него хоть каких-то усилий.

Я рванулась, попыталась вывернуть руку — годы отцовских тренировок отозвались резким движением, которое в любой другой ситуации, возможно, сработало бы, — но его хватка даже не дрогнула. Свободной рукой он перехватил меня за горло, не сдавливая, а точно, почти хирургически надавив куда-то сбоку, туда, где билась артерия.

Мир начал сереть по краям почти сразу.

Последним, что я увидела прежде, чем темнота сомкнулась полностью, были его глаза, смотрящие на меня без намека на сочувствие и добрые намерения.

Ещё через мгновение я почувствовала, как что-то холодное, металлическое сомкнулось на запястьях за спиной. Не так, как должны смыкаться обычные наручники. Туже. Плотнее. Будто металл сам льнул к коже, стремясь прижаться как можно ближе, и в этом ощущении было что-то настолько неправильное, что даже гаснущее сознание зацепилось за него на долю секунды прежде, чем сдаться окончательно.

А потом не стало ничего.

Глава 7

АМЕЛИЯ

Сознание возвращалось рывками, будто кто-то то включал, то снова выключал свет.

Сначала — запах. Не сосны, к которой я привыкла за всю жизнь, а сырость иного рода — бетон, застоявшийся воздух, лёгкий металлический привкус, какой бывает глубоко под землёй, куда солнце не заглядывает никогда. Потом ощущение поверхности подо мной — жёсткой, узкой.

Я открыла глаза.

Первое, что я осознала после потолка, — это то, что на мне была не моя одежда. Простое белое платье из плотной ткани, застёгнутое сзади так, что я не смогла бы дотянуться до застёжки сама, даже если бы не мешали запястья. Кто-то переделал меня, пока я была без сознания. Руки чужих людей на моём теле, снимающих грязную одежду и надевающих эту — от одной этой мысли к горлу подкатила тошнота, острее любого страха перед этой камерой или незнакомцем.

Комната была маленькой и голой — бетонные стены без единого окна, тусклая лампа под потолком, забранная в решётку, узкая металлическая койка, на которой я лежала, и больше почти ничего: ни мебели, ни ковра, ни малейшего намёка на то, что кто-то собирался сделать это место хоть немного человечнее. В углу — сток в полу, круглый, ржавый по краю, от одного вида которого по спине пробежал холод похуже, чем от бетона под тонкой тканью платья. Где-то далеко, за толстой дверью, едва слышно гудели трубы — то ли вентиляция, то ли что-то из недр самого здания, дышащего над моей головой этажами, которых я никогда не увижу. Запястья, когда я попыталась пошевелить руками, отзывались тупой болью — металл всё ещё стягивал их, но теперь спереди, а не за спиной, и я смогла разглядеть то, что на меня надели.

Не наручники в привычном смысле. Тонкий обруч из тёмного металла, охватывающий оба запястья сразу, без цепи между ними, без замка, который я могла бы разглядеть, — просто сплошное кольцо, будто отлитое прямо на мне. Кожа под ним слегка покалывала, немного, на самой грани ощутимого, как будто металл был чуть тёплым — или, может, наоборот, забирал тепло из меня самой, я не могла понять, что из двух.

Я села, и голова тут же поплыла — то ли от удара, то ли от того способа, которым он лишил меня сознания, то ли просто от суток без нормального сна и еды. Дверь в комнате была одна — тяжёлая, стальная, с маленьким смотровым окошком, забранном решёткой и прямо в момент, когда я ее оценивала она открылась без стука.

Он вошёл так, будто комната принадлежала ему — впрочем, наверное, так и было, — уже без пиджака, в одной рубашке с закатанными рукавами, и в тусклом свете единственной лампы казался ещё крупнее, чем я запомнила в лесу, ещё более несоразмерным этому голому бетонному пространству. Он молча прислонился плечом к стене напротив койки, скрестил руки на груди, и только тогда посмотрел на меня — тем же взглядом, что и там, в темноте леса, без злости, без интереса, будто оценивал предмет мебели.

— Голова кружится? — спросил он, и это было первое, что я услышала от него в сознании. Голос звучал буднично, почти вежливо, что пугало сильнее любой угрозы.

— Кто ты? — Мой собственный голос прозвучал хрипло, чужим. — Где я?

— Там, где тебе стоит для начала отвечать на вопросы, а не задавать их. — Он слегка наклонил голову, разглядывая меня, как разглядывают что-то, в чём пытаются разобраться. — Имя твоего отца.

— Даниэль, — сказала я, хотя каждая клетка тела кричала мне не отвечать вообще ничего. — Даниэль Ортега. Он был рыбаком. Он умер три дня назад. Если вам нужны деньги, у нас их нет, вы могли бы...

— Виктор, — оборвал он меня, и что-то в том, как он произнёс это имя, заставило воздух в комнате стать гуще. — Его звали Виктор Уоллес. Даниэль — это то имя, под которым он прятался последние восемнадцать лет, с тех самых пор, как убил моих родителей и сбежал, прежде чем кто-либо успел призвать его к ответу.

Я замерла.

Не потому что не поверила — часть меня, та самая, что нашла паспорта в тайнике, узнавшая почерк отца в тетради, исписанной чужим языком, уже готовилась к тому, что правда окажется страшнее любых догадок. А потому что услышать это вслух, из уст незнакомца, в чужой комнате, с металлом на запястьях — было совершенно иначе, чем подозревать это в одиночестве, в темноте собственной спальни.

— Я не знаю, о чём вы говорите, — произнесла я тихо, и это была почти правда.

Он оттолкнулся от стены одним плавным движением и подошёл ближе, слишком близко, пока не оказался прямо надо мной, и присел на край койки так, что я оказалась почти зажата между ним и холодной стеной. Его пальцы грубо легли мне под подбородок и заставили поднять голову, чтобы смотреть ему прямо в глаза.

— Восемнадцать лет, — сказал он тихо, почти интимно, отчего слова звучали страшнее любого крика. — Восемнадцать лет я представлял себе этот разговор. И знаешь, что удерживает меня прямо сейчас от того, чтобы привязать тебя к потолку и медленно резать на кусочки? Только то, что до конца не понятно, чего ты стоишь. Возможно, ты последняя из его крови на этой земле. А возможно — просто девчонка, которая мне больше не нужна, как только я получу от неё ответы.

Пальцы на моём подбородке чуть сжались — не до боли, но достаточно, чтобы я почувствовала, насколько легко ему было бы причинить ее, если бы он захотел.

— Так что выбирай внимательно, что говоришь дальше, — добавил он. — Мне нужна причина оставить тебя в живых больше, чем ты думаешь.

Он выпрямился так же резко, как наклонился, и кивнул на мои запястья.

— Знаешь, что это?

— Нет.

— Значит, оно работает - сказал он

— Я ничего не понимаю.

Он посмотрел на меня долгую секунду, и что-то в его взгляде на мгновение изменилось — не смягчилось, но стало острее, внимательнее, будто он взвешивал, сколько правды мне можно дать.

— Твой отец умел прятать вещи, Амелия. Себя. Свою кровь. Похоже, он и тебя научил прятаться так хорошо, что ты даже сама не знаешь, от чего именно прячешься.

Он поднялся, одёрнул рукав рубашки, и, уже направляясь к двери, обернулся напоследок.

— Дальше будет проще, если ты перестанешь врать нам обоим. И советую запомнить: жизнь, которую я оставил тебе сегодня, — это одолжение. Одолжения не бывают бесконечными.

Дверь закрылась за ним с мягким, почти неслышным щелчком, и я осталась одна — в чужой комнате, с чужим именем отца, звенящим в ушах, и с металлом на запястьях, о котором знала теперь только одно: что он держит взаперти что-то, чего я в себе никогда не чувствовала, но что, судя по всему, всегда там было.

Глава 8

МАТЕО

Дверь камеры закрылась за мной и я поднялся на лифте туда, где воздух не пах сыростью и застоявшимся холодом. Наверху меня ждал Витторио, с сигаретой и чашкой кофе в руках.

— Ну как? — спросил он, не тратя времени на предисловия, как и всегда.

— Врёт. Плохо, но упрямо.

— Про отца?

— Называет его рыбаком. — Я не смог сдержать короткий, невесёлый смешок. — Восемнадцать лет самой тщательной легенды, которую я когда-либо видел, и вот итог: девчонка искренне верит, что её отец разбирался с сетями, а не с людьми.

Витторио отпил кофе, не сводя с меня взгляда — А по факту — почему она ещё жива, Матео? У тебя было восемнадцать лет, чтобы решить, что ты сделаешь, когда найдёшь её. Не думаю, что план заключался в допросах в подвале.

Хороший вопрос. Я ждал его от кого-нибудь из них с той самой секунды, как приказал везти её сюда, а не заканчивать всё в лесу, где было бы куда проще, куда чище, куда меньше риска.

Проблема заключалась в том, что у меня не было на него честного ответа.

— Потому что мёртвая она бесполезна. Если в ней действительно есть то, что мы ищем, мне нужно, чтобы она сначала это осознала сама. Убить всегда успеем.

— Разумно, — кивнул Витторио, хотя по его лицу было видно, что он купился на объяснение ровно настолько, насколько купился бы на детскую отговорку. — Только не затягивай с осознанием слишком надолго. Тернион не единственные, кто может почувствовать, что печать её отца больше не держит. Если Нора смогла её найти, значит, и другие смогут.

Я не лгал Витторио полностью. Мне действительно был нужен её дар, если он существовал, — как доказательство, как рычаг, как единственная вещь, способная убедить остальных Защитников, что восемнадцать лет ожидания того стоили. Но было и другое, то, что я не мог сформулировать даже себе самому там, в подвале, глядя, как она смотрит на меня снизу вверх, испуганная, но не сломленная, вздёрнувшая подбородок даже тогда, когда я держал её за него сам.

Я представлял себе это лицо годами — лицо человека, который отнял у меня родителей. Никогда не представлял, что вместо него окажется вот это: перепуганные карие глаза, упрямо сжатые пухлые губы, каштановые волосы, слипшиеся от дождя и грязи, и что-то в самой позе, в том, как она держала спину прямо даже в бетонной коробке без окон, что напомнило мне не жертву, а зверя, загнанного в угол, но ещё не сломленного настолько, чтобы перестать искать выход.

И всё равно, глядя на неё, я чувствовал то же самое, что чувствовал все эти годы — только теперь у ненависти появилось настоящее имя и черты. Она была его дочерью. Его кровью, выросшей на деньги, добытые предательством, обученной им лгать так гладко, что даже сейчас, зная правду, я на мгновение почти купился на этого рыбака. Каждый раз, когда она поднимала на меня взгляд — я видел не восемнадцатилетнюю девчонку, а отражение человека, из-за которого я в шесть лет стоял на похоронах обоих родителей сразу, слишком маленький, чтобы понять, что означает закрытый гроб. Часть меня хотела, чтобы она боялась ещё сильнее и чтобы боль, которую я нёс восемнадцать лет, наконец нашла, на ком выместиться сполна.

Я вернулся в свой кабинет наверху и сел за стол, глядя на город внизу, раскинувшийся под стеклом в утреннем свете, будто ничего из происходящего под этим самым зданием не имело к нему никакого отношения.

На экране лежал файл, который собрала для меня Нора накануне вечером, — всё, что удалось найти о жизни девчонки до вчерашней ночи. Немного. Отчёты о посещаемости школы, которых не было вовсе, потому что она никогда не ходила в школу. Медицинская карта из единственной клиники на сто миль вокруг — обычные детские прививки, один перелом руки в двенадцать лет, зафиксированный без лишних вопросов местным врачом. Ни фотографий в соцсетях, ни следа, ни намёка на то, что она вообще существовала для мира за пределами того леса.

Я закрыл файл и вместо этого открыл видео с камер из подвала, где увидел её силуэт на койке, то, как она сидела, обхватив колени руками, глядя в одну точку на стене напротив, час за часом, не плача, не пытаясь звать на помощь, просто ожидая с тем же упрямым спокойствием, с каким, наверное, ждала все восемнадцать лет своей странной, изолированной жизни.

Я смотрел дольше, чем следовало.

В какой-то момент раздался стук в дверь, и вошла тётя Роза.

Она не заговорила сразу. Прошла через кабинет неспешно, окинула взглядом стол, бумаги, нетронутый кофе, давно остывший, и только потом перевела взгляд на экран — на застывший кадр с девушкой в подвале.

— Долго сидишь, — сказала она наконец, опускаясь в кресло напротив, будто у неё было всё время мира. — Обычно после допроса ты уже раздаёшь поручения. А сейчас — смотришь запись из камеры так, будто это лучший фильм за последний год.

— Разбираюсь, что с ней делать дальше, — ответил я, не отрывая взгляда от монитора.

— Разбираешься, — повторила она, и в её голосе не было ни вопроса, ни утверждения — что-то среднее, оставляющее пространство для того, чтобы я сам додумал остальное. Она молча смотрела на меня ещё несколько секунд, тех самых секунд, которые всегда казались мне бесконечными, когда она смотрела так, — будто читала что-то, написанное у меня на лице буквами, которых я сам не мог различить.

— Знаешь, — произнесла она наконец, медленно, взвешивая каждое слово, — я ращу тебя с шести лет, Матео. Видела тебя в ярости, видела в горе, видела в холодном расчёте, на который ты способен лучше, чем кто-либо из нас. Но вот это, — она кивнула на экран, на застывшее изображение, — это лицо я видела всего один раз в жизни прежде. У твоего отца. Когда он впервые встретил твою мать.

— Это не то же самое, — ответил я резче, чем собирался.

— Конечно, нет, — сказала она, и в её голосе не было ни капли убеждённости. — Просто помни, зачем она здесь. Прежде чем забудешь сам.

Она вышла так же тихо, как вошла, и я остался один, глядя на замерший кадр — её лицо, повёрнутое к камере под странным углом, будто она знала, что за ней наблюдают, и не собиралась доставлять смотрящему удовольствие увидеть страх.

Зачем она здесь. Хороший вопрос.

Я всё ещё не был уверен, что сам знаю правильный ответ.

Глава 9

АМЕЛИЯ

Голод пришёл не сразу — сначала была только пустота, слишком большая, чтобы заметить что-то настолько мелкое, как тело. Но часы шли, а тело не спрашивало разрешения напоминать о себе: сначала лёгкое посасывание под рёбрами, потом тупая, ноющая судорога где-то внутри живота, скручивающая так, что я подтянула колени к груди и легла на бок на узкой койке, обхватив себя руками, будто это могло помочь.

Когда я ела в последний раз? Пыталась вспомнить и не могла. Завтрак в тот четверг, последний обычный день, — да, кажется, тогда. С тех пор — ничего. Организм словно решил напомнить мне об этом именно сейчас, в самый неподходящий момент, будто мало было всего остального.

Я лежала, слушая, как в животе бурчит и сжимается, и думала: странно, что тело вообще способно требовать что-то настолько простое, как еда, когда всё остальное во мне разрушено настолько, что, казалось, простые вещи вроде голода не должны иметь права голоса. Но они имели. Голод не спрашивал, готова ли я скорбеть дальше. Он просто был.

Я закрыла глаза, и, конечно, туда, где темнота должна была принести хоть немного покоя, вместо этого хлынуло воспоминание — одно, отчётливое, такое, какого я не позволяла себе касаться годами, потому что тогда, ребёнком, списала его на очередную взрослую странность, не стоящую вопросов.

Мне было лет девять. Я проснулась среди ночи от жажды и, выйдя на кухню за водой, увидела в окно отца во дворе — один, в одной рубашке, несмотря на холод, стоящий на коленях у границы участка, там, где по всему периметру нашего двора были разложены плоские серые камни, которые я всегда считала просто украшением грядки, чем-то декоративным, не стоящим внимания. Он держал ладони на одном из них, склонив голову, и губы его двигались беззвучно — или почти беззвучно, потому что сквозь приоткрытое окно до меня долетали обрывки звука, ритмичного, повторяющегося, похожего на те самые символы, которым он учил меня за кухонным столом, только произнесённые вслух, а не нарисованные.

Он оставался так долго — минут двадцать, может, дольше. А когда наконец поднялся и обернулся к дому, я успела отпрянуть от окна, но не раньше, чем увидела его лицо в лунном свете: серое, изнурённое, покрытое испариной, будто он только что закончил тяжелейшую физическую работу, а не просидел неподвижно на коленях в собственном дворе. Утром, за завтраком, я всё же спросила его про камни — робко, зная, что вопросы в нашем доме не приветствовались, но не удержавшись. Он сказал, что это старая семейная примета, для удачи, ничего больше, и попросил меня никогда их не трогать, не сдвигать, даже случайно, играя во дворе. Я кивнула и забыла об этом на годы — до сегодняшней ночи.

Тогда я списала это на очередную отцовскую странность. Теперь я знала точно: это не было приметой ради удачи. Камни во дворе были границей — тем самым, что держало нас невидимыми для мира все эти годы, — а то, что я видела в тот роковый день, было ценой, которую отец платил за эту невидимость снова и снова, в одиночестве, никогда не позволяя мне узнать, чего именно это ему стоит.

Каким из этих людей он был на самом деле? Тем, кто приносил мне горячий чай с мёдом в постель, когда я болела, и читал вслух главы из потрёпанных книг, пока я не засыпала на середине предложения? Или тем, кто — если верить огромному человеку с холодными глазами наверху — убил двух людей и позволил их сыну вырасти сиротой, пока сам растил меня в уюте и любви, спрятанной в глухом лесу?

Я не могла соединить эти два образа. Не потому что не хотела — потому что каждый раз, пытаясь наложить их друг на друга, я чувствовала, как что-то внутри меня рвётся, будто ткань, растянутая в разные стороны сильнее, чем она способна выдержать.

Последняя. Чистая. Кровь.

Три слова вертелись в голове снова и снова, пока не потеряли форму, превратившись в бессмысленный набор звуков, а потом обрета её заново, острее прежнего. Последняя из чего? Чистая — в каком смысле, если не в том, что подразумевает нечто грязное, разбавленное, испорченное во всех остальных? И кровь — моя кровь, та самая, что сейчас бурлила в венах от голода и страха одновременно, была ли она вообще той кровью, о которой писал отец, или это были просто красивые, зловещие слова без реального смысла, брошенные человеком, который, возможно, и сам не до конца понимал, что происходит?

Огромный мужчина — Матео, вспомнила я его имя, хотя он не потрудился представиться сам, просто кто-то произнёс его вскользь, когда говорил с ним за дверью, — сказал, что во мне спит что-то, запёртое металлом на запястьях. Я поднесла руки к лицу, насколько позволяла цепочка боли в скрученном голодом животе, и вгляделась в тонкий обруч, покалывающий кожу.

Что, если он прав? Что, если всю жизнь во мне действительно было что-то — не просто отцовские тренировки, не просто деревенская закалка, а нечто, требующее объяснения совсем другого порядка? Что, если отец знал об этом всё это время и прятал это во мне так же тщательно, как прятал самого себя?

От этой мысли голова закружилась сильнее, чем от голода.

Я попыталась вспомнить хоть один момент из детства, когда чувствовала бы что-то необычное — искру, вспышку, хоть что-нибудь, выходящее за рамки обычного ребёнка. Не находила ничего. Ни одного момента, который выделялся бы среди тысяч других обычных дней, наполненных уроками, тренировками, тишиной леса. Если во мне и правда что-то спало, отец подавил это настолько тщательно, что я не помнила даже намёка на его существование.

Ты сильнее, чем я успел тебе показать.

Его слова, из письма, которое я сожгла своими же руками. Тогда они звучали как утешение, как последний подарок умирающего отца дочери, которую он оставлял одну. Теперь, лёжа на узкой койке в бетонной коробке и вопросами без ответов, они звучали иначе — почти как предупреждение. Как будто он знал, что рано или поздно мне придётся узнать, насколько я сильна на самом деле — буквально, а не для красного словца.

Живот снова свело, резче прежнего, и я застонала вслух, впервые с тех пор, как очнулась здесь, — тихий, сдавленный звук, который тут же захотелось забрать обратно, будто показывать слабость в этих стенах было опаснее, чем сам голод.

Никто не пришёл. Я не знала, слушает ли меня кто-то вообще, наблюдает ли за мной та самая камера, о существовании которой я догадывалась, но не могла найти взглядом.

Я лежала в темноте, прижав колени к груди, и думала о том, что единственный человек, который мог бы объяснить мне, что происходит, — единственный человек, чьи ответы имели бы хоть какой-то смысл, — лежит сейчас под старой сосной у ручья и не может сказать мне уже ничего.

Глава 10

АМЕЛИЯ

Время здесь не имело формы. Без окон, без часов, с одной и той же лампой, горящей одинаково тускло что днём, что ночью — если день и ночь вообще ещё существовали где-то там, наверху, — я потеряла счёт часам между второй голодной судорогой и первой попыткой уснуть, которая не принесла ничего.

Я не услышала, как открылась дверь. Услышала только его голос — уже внутри, уже рядом, — и вздрогнула так сильно, что едва не свалилась с узкой койки.

— Ты не ешь третий день, — сказал он вместо приветствия, и в голосе было что-то, чему я не могла подобрать название: не забота, но и не совсем безразличие.

— Твои люди не приносили еды.

— Я запретил.

Признание, брошенное так буднично, будто речь шла о погоде, а не о том, что он сознательно морил меня голодом, ударило сильнее, чем я готова была показать. Я заставила себя сесть, хотя голова тут же поплыла, и посмотрела на него снизу вверх с тем упрямством, которое, кажется, оставалось единственным, что у меня ещё было.

— Зачем?

— Потому что голодный человек честнее, — ответил он, подходя ближе, и что-то в его движении было другим сегодня — не той расчётливой холодностью, к которой я успела привыкнуть, а чем-то более взведённым, будто он тоже боролся с чем-то внутри себя всё это время, пока меня не было в поле его зрения. — Расскажи мне о Викторе. Не о рыбаке.

— Я не знаю никакого Виктора.

Он оказался рядом быстрее, чем я успела отреагировать, — колено на край койки, рука, скользнувшая мне под подбородок так же, как в прошлый раз, только на этот раз она не остановилась там. Пальцы сомкнулись вокруг моего горла и большой палец лёг ровно на пульс, бешено колотящийся под кожей.

— Врёшь, — произнёс он тихо, почти у самых моих губ, и в ту же секунду, прежде чем я успела ответить, в голове вспыхнула чужая мысль, ясная и чёткая, будто произнесённая вслух прямо у меня внутри:

Она держится дольше, чем должна была.

Я замерла. Он этого не заметил — или заметил, но не подал вида, — и хватка на моём горле не ослабла, только большой палец качнулся на пульсе, будто он прислушивался к моему сердцу через кожу. От этой близости, от тепла его ладони на моей шее внутри меня будто что-то оборвалось — не от страха, хотя страх тоже был, а от чего-то более примитивного, более жаркого, чему я не готова была позволить существовать.

И тогда пришла вторая мысль — резче первой, будто он сам оборвал себя на полуслове где-то внутри собственной головы:

Не смотри на неё так. Ты должен её убить.

Я вздрогнула так сильно, что он это почувствовал — по тому, как напряглись мои пальцы на его запястье, по тому, как сбилось моё дыхание, — и его глаза сузились, вглядываясь в моё лицо с новой, острой настороженностью.

— Что ты сделала? — спросил он резко, не убирая руки.

— Я услышала тебя, — прошептала я, и голос дрожал сильнее, чем мне хотелось бы. — Твои мысли. Что я держусь дольше, чем должна была. И... что ты должен меня убить.

Что-то мелькнуло в его лице — не удивление, а узнавание, будто он подозревал именно это и всё равно оказался не готов услышать подтверждение вслух. Хватка на моём горле дрогнула, и на мгновение мне показалось, что он вот-вот отпустит меня совсем.

— Это ничего не значит, — сказал он резко, будто убеждая не столько меня, сколько себя самого. — Мысли — это ещё не решение.

— Ты хочешь меня убить. — Голос дрожал, но я заставила себя договорить. — Ты сам это сказал. Внутри себя, но сказал.

Он не ответил сразу. Челюсть напряглась, взгляд метнулся куда-то в сторону — впервые за всё время он избегал смотреть мне в глаза, — и в этом было больше правды, чем в любых словах, которые он мог бы произнести.

— Это моя работа — решить, что с тобой делать, — произнёс он наконец, тише, чем раньше. — Не твоя — знать, что творится у меня в голове, пока я это решаю.

Его пальцы всё ещё лежали на моём горле, но хватка стала другой — не угрозой, а чем-то тяжёлым, неуверенным, будто он сам не понимал, почему до сих пор не убрал руку.

Дальше по коридору хлопнула дверь — глухо, далеко, — и он отпрянул так резко, будто очнулся от того, во что едва не позволил себе провалиться. Рука соскользнула с моего горла, оставив кожу гореть там, где только что была его ладонь, и он поднялся, отступил на шаг, вновь запечатывая лицо привычной непроницаемостью.

— Еду принесут, — бросил он уже от двери, не оборачиваясь. Потом всё же остановился, и, не глядя на меня, добавил тише: — И советую тебе научиться не слышать меня, Амелия. Ради нас обоих.

Дверь закрылась, и я осталась одна — с обожжённой памятью о его ладони на своей коже и абсолютно новым, пугающим осознанием: что бы отец ни прятал во мне все эти годы, оно только что проснулось. И часть меня, к своему ужасу, вовсе не хотела, чтобы оно засыпало снова...

Глава 11

МАТЕО

Ладонь всё ещё помнила её пульс, когда я поднимался вверх, — быстрый, отчаянный стук под тонкой кожей, который не желал выветриваться, сколько бы этажей ни отделяло меня теперь от той бетонной комнаты.

Я знал, что должен доложить об этом немедленно. Не потому что хотел — каждая клетка тела противилась мысли о том, чтобы произнести это вслух, будто озвучивание сделало бы произошедшее более реальным, чем оно уже было, — а потому что скрывать подобное от семьи было той роскошью, которую я не мог себе позволить, что бы ни творилось у меня внутри.

— Она не пустая, — произнёс я, садясь напротив Витторио. — Разум. Читает мысли. Или, по крайней мере, слышала одну из моих — достаточно ясно, чтобы повторить мне её же словами.

Витторио отложил ручку, которую держал в руках, медленно, будто это давало ему время обдумать услышанное прежде, чем отвечать.

— Фиксаторы должны были это предотвратить.

— Должны были. — Я потёр переносицу, чувствуя, как усталость последних дней наконец даёт о себе знать всерьёз. — Но не предотвратили.

— Объясни.

Я не был уверен, что могу объяснить достаточно хорошо — сам всё ещё пытался разобраться в произошедшем, — но заставил себя сложить это в слова, насколько получалось:

— Она была на грани. Голод, три дня без сна по-настоящему, эмоциональное состояние, о котором мы даже не говорим, потому что, полагаю, оно очевидно. Фиксаторы рассчитаны сдерживать обычный дар. Они никогда не тестировались против того, что, возможно, есть у неё.

Витторио понял раньше, чем я договорил, — по глазам было видно.

— Три дара сразу, — сказал он тихо.

— Или потенциал для всех трёх сразу. Я не знаю точно, насколько это меняет расчёт для металла, но, кажется, при достаточном стрессе то, что в ней есть, способно продавить сдерживание, которое остановило бы любого другого. Ненадолго. Но способно.

Витторио поднялся, подошёл к окну, глядя на город так, будто ответ мог обнаружиться где-то там, в утреннем свете, отражённом от соседних башен.

— Значит, фиксаторы — не решение. В лучшем случае — временная мера.

— Похоже на то.

Он развернулся ко мне, и в его взгляде появилось что-то, чего я боялся с той самой секунды, как понял, что должен рассказать ему о случившемся, — расчётливый интерес человека, который всю жизнь искал именно такое подтверждение, именно такую возможность.

— Тогда нам нужно знать точно, с чем мы имеем дело, Матео. Не догадки. Не обрывки одной вырвавшейся мысли. Полную картину: сколько даров, насколько сильных, насколько она способна ими управлять и насколько — нет.

— Ты говоришь про испытания.

— Я говорю про то, что восемнадцать лет мы гонялись за призраком, а теперь этот призрак сидит в подвале этого самого здания, и мы понятия не имеем, что именно у нас в руках. — Голос его стал тверже, тем самым тоном, каким он говорил, принимая решения, которые не подлежали обсуждению. — Соберу остальных сегодня же вечером. Нужен протокол — контролируемые условия, постепенное повышение нагрузки, наблюдение за реакцией каждого дара по отдельности, если получится их различить.

Что-то во мне взбунтовалось при этих словах — резко, инстинктивно, прежде чем я успел это в себе подавить, — представив её на месте подопытной, в условиях, спроектированных, чтобы вытянуть из неё максимум с минимальной заботой о том, что это будет ей стоить.

— Она и так на пределе, — сказал я, и голос прозвучал жёстче, чем я рассчитывал. — Ещё одна встряска такого рода, и мы либо сломаем её окончательно, либо не получим ничего полезного, потому что человек на грани срыва — плохой источник достоверных данных.

Витторио посмотрел на меня долгую секунду, тем самым взглядом, каким смотрел, когда пытался прочесть меня насквозь, и я почувствовал, как что-то во мне сжимается под этим взглядом сильнее, чем должно было бы.

— С каких пор тебя волнует её комфорт? — спросил он тихо.

— Меня волнует достоверность данных, — ответил я, и даже сам не был уверен, насколько это правда.

— Хорошо. — Он не стал спорить, хотя по лицу было видно, что мой ответ его не убедил ни на секунду. — Тогда ты и составишь протокол. Раз тебя так заботит его качество.

Это прозвучало не как уступка, а как проверка — Витторио редко делал что-то без второго смысла, — и я понял, что он не столько поручает мне задачу, сколько наблюдает, что я с ней сделаю: попытаюсь ли я смягчить условия ради неё, или проведу всё с той же холодной эффективностью, с какой действовал бы в отношении любого другого актива, попавшего к нам в руки.

— Хорошо, — сказал я, поднимаясь. — Составлю протокол.

— Матео.

Я остановился у двери.

— Что бы ты ни чувствовал к этой девчонке, — сказал он, не глядя на меня, снова уставившись в окно, — помни, откуда взялась её кровь. Помни, чья кровь на её руках, даже если сама она об этом не подозревала до этой недели.

Я вышел, не ответив, потому что ответить было нечем — потому что где-то между бетонной камерой и этим кабинетом я перестал быть до конца уверен, что помню это так же чётко, как должен был бы.

Глава 12

АМЕЛИЯ

Я не успела даже толком уснуть, когда грохот металла о металл вырвал меня из полудрёмы — не дверь, поначалу, а именно звук, резкий, чужой, слишком громкий для этих стен, — и в следующую секунду в комнате уже были трое, все в одинаковой тёмной форме, без лиц, которые я могла бы запомнить, потому что смотрела не на лица, а на руки, схватившие меня прежде, чем я успела подняться с койки.

— Что вы делаете?! — Голос сорвался на крик, но крик не помог — меня подняли на ноги грубо, не заботясь о том, что ноги подкашивались после стольких дней без нормальной еды, и потащили к двери так быстро, что я едва успевала переставлять босые ступни по холодному полу, чтобы не упасть.

Коридор за дверью оказался длиннее, чем я себе представляла, — бетон сменялся то плиткой, то снова бетоном, лампы мелькали над головой слишком быстро, чтобы сосчитать, и я пыталась вырываться, пыталась упереться пятками в пол, но хватка на моих руках была железной, в буквальном смысле — на запястьях у державших меня людей я успела заметить те же наручники-обручи, что и на своих собственных, только явно предназначенные не для сдерживания, а для того, чтобы удерживать меня, не боясь ответного удара.

Меня втокнули в другую комнату — ярче освещённую, холоднее, с белыми стенами вместо серого бетона, с запахом, от которого к горлу подкатила паника ещё до того, как я успела его опознать: спирт, металл, что-то стерильное и оттого ещё более пугающее, чем грязная камера, из которой меня только что вытащили.

Посреди комнаты стояло кресло — не обычное, а с ремнями по подлокотникам, по подножке, с чем-то вроде медицинского штатива рядом, увешанного инструментами, которые я не успевала разглядеть, потому что меня уже усаживали в него силой, пристёгивая запястья, лодыжки, грудь одним широким ремнём поперёк тела, вжимающим меня в спинку так, что вдохнуть полной грудью стало почти невозможно.

— Пожалуйста, — прошептала я, ненавидя себя за это слово, за то, как жалко оно прозвучало, но не в силах остановиться. — Пожалуйста, объясните, что происходит.

Никто не ответил. Женщина в белом халате подошла сбоку — лицо спокойное, будто она делала это тысячу раз до меня и сделает ещё тысячу после, — и взяла мою руку, поворачивая её так, чтобы видеть сгиб локтя.

— Не двигайся, — сказала она, и это было первое, что вообще прозвучало похожим на обращение ко мне за всё это время. — Будет легче, если не будешь дёргаться.

— Мне нужно знать, что вы...

Игла вошла резко, без предупреждения, без той доли секунды подготовки, которую я успела бы использовать — и я вскрикнула, дёрнувшись против ремней, которые держали крепче, чем я рассчитывала. Кровь потекла в пробирку, тёмная, быстрая, и я смотрела на неё, чувствуя, как паника подкатывает волнами, одна за другой, потому что что-то в этом было настолько ниже любого достоинства, любого выбора, что я не находила внутри себя, за что зацепиться.

Одна пробирка. Вторая. Женщина работала методично, меняя их с быстротой, говорившей об огромном опыте, и с каждой новой сменой я чувствовала себя всё меньше человеком и всё больше — образцом, материалом, тем самым «активом», о котором, наверное, говорили где-то в этом здании люди, никогда не видевшие моего лица.

— Зачем вам моя кровь? — спросила я, и на этот раз голос дрожал уже не от страха, а от чего-то более горячего, поднимающегося откуда-то из глубины, той самой глубины, что впервые дала о себе знать вчера в подвале.

Женщина не ответила. Зато откуда-то сбоку, из-за стеклянной перегородки, которую я не заметила раньше, — тёмной, полупрозрачной, за которой угадывались силуэты, — донёсся звук открывающейся двери, и я повернула голову ровно настолько, насколько позволяли ремни.

Матео стоял там. Не входил, не подходил ближе — просто стоял за стеклом, руки скрещены на груди, лицо непроницаемое, как в первый день, и смотрел на меня так, будто был совершенно посторонним человеком, случайно оказавшимся не в том коридоре.

Что-то во мне сломалось при виде этого взгляда сильнее, чем от иглы в руке, — потому что после вчерашнего, после его пальцев на моём горле, после того жара, что я всё ещё чувствовала под кожей, эта холодность казалась предательством, хотя я и понимала, насколько нелепо было ожидать чего-то другого.

Женщина закончила с последней пробиркой, прижала ватку, закрепила её пластырем резким, безразличным движением, и отступила, освобождая место кому-то другому — мужчине постарше, с планшетом в руках, который подошёл и без единого слова начал прикреплять электроды к моим вискам, к запястьям, туда, где под кожей, я знала теперь точно, билось что-то большее, чем просто пульс.

— Мы начнём с малого, небольшой стресс-фактор для начала. Посмотрим на реакцию.

Я перевела взгляд обратно на стекло. Матео всё ещё стоял там, неподвижный, и на долю секунды — я готова была поклясться в этом — что-то дрогнуло в его лице, прежде чем он снова спрятал это за привычной маской.

А потом мужчина с планшетом кивнул кому-то за моей спиной, и комнату захлестнул звук — оглушительный, резкий, направленный прямо на меня, — и я закричала, не в силах сдержаться, пока ремни впивались в кожу, а мир вокруг превращался в белый, режущий уши хаос.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.